



М. Шевченко

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



Под редакцией

А. Дейча, М. Рыльского и Н. Ушакова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ



ПОВЕСТИ

1856—1858

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1933

Комментарии
И. Айзенштока

П О В Е С Т И

Б Л И З Н Е Ц Ы ¹

Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник — день критический или просто тяжелый день и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного. Он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебреника надругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? И выйдет какой-нибудь француз или, чего боже сохрани, куций немец, а о типе, или, так сказать, о физиономии национальной и помину не будет. А по-моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.

Но — увы! — не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют во все в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой, боже, вот до чего мы дожили! А попросил бы я это усатое сословие заглянуть, например, хотя бы в «Письмовник» знаменитого Курганова: там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты, а за ними и последователи учения Зороастрова неукосненно веровали в критичность понедельника. Так

¹ Все повести Шевченко написаны на русском языке.

вот, поди толкуй ты с беспардонной военщиною. Военный, вполне военный человек, он лучше загнет лишний угол или возьмет у еврея лишнюю бутылку самодельного рому, так называемого клоповика, чем выпишет мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, «Ключ к тайнствам природы» Эккертсгаузуна с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова; так где тебе, и слушать не хотят!

Я все это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник рано утром из уездного города П., и губернии тоже П., выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько. Помню только, что сбор в трубу трубили; поэтому и надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.

Входит и выходит из села или городка полк,— это два великие события, а особенно если полк, чего боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто — самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женихов я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города П., разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, потому что шел затяжной дождь или, как назвал его покойный Гребенка, ехидный, сиречь мелкий и продолжительный. Но, невзирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села Н., другие до местечка Борисполя, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, то есть до переправы на Днепре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.

Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.

В тот же понедельник, поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против Трехбратних могил, свернула с дороги и скрылась в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, и пошла быстро по маленькой, поросшей *спорышом* дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.

На другой день поутру рано, то есть во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как то: цесарок, гусей, кур и т. д., а голубей будет довольствоваться уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на *ганак*, то есть на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалось, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решилась пригласить Никифора Федоровича.

Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже, однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.

— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается,— говорит испуганная Прасковья Тарасовна.

— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу,— говорит Никифор Федорович.

— А свитка, разве не видишь?

— Вижу свитку.

— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?

— Вижу, так что ж, пускай себе шевелится; бог с нею.

— Каменный ты человек, разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?

— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.

— А тебе не хочется?

— Нет.

— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.

— Хорошо.

И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! — он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшийся от изумления, вскрикнул:

— Параско!

Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении, она воскликнула:

— Святый великомучениче Иване Воине, что ты с нами делаешь?

И, обратясь к Никифору Федоровичу, сказала:

— Вот видишь, я недаром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится.

— Ну, благодарим тебя, господи наш милосердый,— проговорила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красненьких малюток,— награди-таки ты нас, господи, на старости лет.

— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тым часом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их по-своему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.

— Ах! и в самом деле! Посмотри, у них, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.

— Ну, так отнеси ж их, а я пошлю Клыма за Притулыхою,— сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.

Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче, «смолоду на потеху, под старость на помогу, а по смерти на вспомин души». Они, бедные, долго и усердно молились богу и надеялись, наконец и надеяться перестали. Они уже думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое,— так что же

будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлою весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань, прослышавши, что там после бедной вдовы осталось двое сирот, мальчик и девочка. Так что ж, и тех взял барышевский *тытарь*, человек вдовый и бездетный, а богач темный, так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью господь посетил их праведную и добродетельную старость.

Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник, а в среду, перед вечером, приехал к ним искренний друг их Карл Осипович Гарт, аптекарь переяславский, и, по обыкновению приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал ему в знак памяти друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане или в Дубосарах, Осип Карлович Шварц; понюхал табаку и, сядя на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:

— В нашем городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте около вашего хутора, а вы, верно, ничего этого не знаете? — Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собой и молчали, а Карл Осипович продолжал:

— Да, когда я был еще студентом в Дорпате, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жира, до мускулов не доберешься.

— Вот что, — прервала его Прасковья Тарасовна, — у меня к вам просьба, Карл Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам господь деточек даровал.

— Как так? — вскрикнул изумленный Карл Осипович.

— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов божиих.

— Удивительно! — воскликнул снова Карл Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.

— А я попрошу еще и Кулину Ефремовну, она — тоже немка, вот вы и породнитесь.

— Нет, она совсем не немка, она только из Митавы; но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.

Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог по обыкновению провести вечер со своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулину Ефремовну о предстоящем событии. Расставшись с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила молчание Православия Тарасовна.

— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она, должно быть, их настоящая мать.

— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до клещальной субботы, а то, бог ее знает, быть может она самоубийца, то как бы еще греха не наделать.

— Хорошо, подождем, теперь уж недалеко зеленое воскресенье. Да посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей, — ведь они обоим мальчики.

Никифор Федорович достал киевский «Каноник» и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:

— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия!

— А нет ли еще других каких?

— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.

Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа.

Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасечник и вдобавок искусный пасечник.

Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.

Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся богу, разошлись спать — Никифор Федорович в комору, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.

Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города Переяслава.

Для краткости этой истории не нужно было бы описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решился описать и хутор и его мирных обитателей, для того только, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: «Каков из колыбельки, таков в могилку». А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами, и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца, — что такие прекрасные впечатления необоримой стеною станут вокруг человека и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.

Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.

Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи наших дней, и которые, возлюбя всем сердцем и всем помышлением фран-

цузские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А. Дюма (блаженны верующие, я же, неверующий Фома, начну старыми словесы повествование мое тако.

Сначала опишу со тщанием место, то есть пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже по мере сил приступлю к драме, то есть к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера, а хорошее, как говорят, не стареет,— исключая хорошенькую кокетку, которая — увь! — увядает преждевременно.

Начнем же так.

На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города Переяслава, — словом, против того самого места, где бешеный честолобец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба. И на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая, или Тарасова, ночь в 1547 году. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма, но зато окрестности окупались чистым рюнсдалевским пейзажем. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом так, что самую реку и не видно, разве только против сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезаются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан города Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградой церкви, до самого города, расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского вала издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и

вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, полу-рококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепою в 1690 году; другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фона. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского. Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.

Геральдический дуб дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III, — не по примеру прочих голштинцев наг и гладен, — а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной Переяслав, он, к его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего полковника переяславского, цыгана Иваненка, и получил за женою в приданое хутор со всеми угодьями и несколькими сотнями пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.

Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором в себулдинцы и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему немало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день; право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры — Карпо Сокира, голштинец.

Юный Федор Сокира, оставшийся единственным наследником прав и состояния отца и единственным

сыном чадолюбивой матери, оказался порядочным мальчиком, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его добронравный соборный дьяк Степан Перепелыця, невзирая на все увещевания нежнейшей матери.

В то счастливое время хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали просвещаться, однакож юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу.

После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решила отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилось иногда воровству и разбойничеству. На бурсацкой скамье или на подольском базаре подружился он с знаменитым впоследствии Иваном Левандою, Григорием Гречкою и тогда уже философом Григорием Сковородою, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что когда однажды славные запорожцы, приехавшие на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ермолу Кичку в Межигорский монастырь, устроили брату приличное прощание со светом, то есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчуя встречного и поперечного братскою горилкою из *михайлыка*, а прощавшийся со светом брат, знай себе, танцует впереди музыкантов,— прельстился такою прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, спрыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на великом Запорожском Лугу, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является к Екатерине Великой; потом